

Владимир
АЛЕЙНИКОВ

Очищающий СМОГ



Современная книга. Поэзия, проза, публицистика

Владимир Алейников

Очищающий СМОГ

«Алетейя»

2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Алейников В. Д.

Очищающий СМОГ / В. Д. Алейников — «Алетейя»,
2015 — (Современная книга. Поэзия, проза, публицистика)

Книга "Очищающий СМОГ" – книга известного поэта и прозаика Владимира Алейникова о былой эпохе, об отечественном андеграунде. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ повествует о том, как возникло это содружество, своим явлением в середине шестидесятых годов XX века изумившее современников, о своих друзьях, их судьбах и творчестве.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Алейников В. Д., 2015
© Алетейя, 2015

Содержание

I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Владимир Алейников

Очищающий СМОГ

© В. Д. Алейников, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

I

Было слово в начале – и слово это было, конечно, СМОГ.
Если СМОГ – то, считай, пролог.
Дар неожиданный. Судьба? Не знаю.
Соль земная да боль сквозная.
Даль блаженная. Горький слог.

В январе шестьдесят пятого, слишком памятного для меня, Змеиноного, многотрудного, с испытаниями на прочность, с выживанием ранним, а также с обретением драгоценным духа, света, пути своего, речи, дома, голоса, веры, и надежды упрямой на чудо, и пришедшей однажды любви, явь раскрывшего книгою новой, правь призвавшего мне в подмогу, навь отвадившего навеки от крылатой души, чтоб сердце закалилось и возмужало, с кровью давшего когда-то, чтоб светлейшим остаться, года, в дни, предвестием ставшие бурь и событий неисчислимых, а именно двадцать шестого числа, да, конечно же, так, вечером зимним, под знаком Водолея, родного созвездия, в Москве появился СМОГ.

Слух об этом распространился, как бывает у нас, мгновенно.
В неизбежности этой виден свой резон и промысел свой.
Может, имя новое ныне и в грядущем благословенно?
Может, выживет слово наше – и легендой станет живой?

В напоминавших сплошную дымовую завесу, похожих на кошмарную псевдомузыку, наслоениях былой эпохи был услышан отчётливо вдруг некий чистый звук, различим был верно взятый тон, вроде зова, клич, скорее, призывный клич, на который, вслушавшись чутко и поняв, почему и где слышен он в пространстве и времени, можно было идти сквозь мглу, сквозь обман её, сквозь неволю и беду, как на свет маяка.

Словно где-то в глухих снегах, в потаённом заречном урочище, пробудился дремавший дотоле сотни лет вечевой колокол, обрёл свой призывный голос, заговорил, – и эхо небывалого этого звона, отважного и заранее обречённого, светлой надеждой и тревогой отозвалось в стосковавшихся по хорошему человеческих усталых душах, расширяющимися кругами поплыло по давно забывшей о всякой, древле привычной, соборности, зимней столице.

Заволновались, все оптом, немедленно всё разведав и тщательно разузнав, что к чему, что за невидаль этакая появилась на горизонте, почему призыв раздаётся необычный к объединению и зачем он такое сулит, от чего действительно кругом голова идёт с непривычки, на удивление просто многочисленные в то время молодые совсем поэты, ну а с ними ещё и прозаики, потянулись на отзвук магического, несомненно, странного имени сквозь январскую снежную мглу: в кои-то веки, надо же, представилась им возможность, да ещё и какая роскошная, в просторечии просто лафа, на людей вокруг посмотреть, кто такие и чем они дышат, и себя наконец показать!

Насторожённо выглянули из дверей левацких, бунтарских, чердачных, поближе к высоким небесам и желанной свободе, что, возможно, когда-нибудь с них однажды въявь низойдёт на отчизну, в бесчасье идущую, и на граждан её, режимом не приветствуемых отнюдь, подозрительных слишком, творческих, колоритных, нищих, с характером, то затворников, то гуляк, праздных, буйных, бывало и так, и подвальных, к земле поближе, но и к воле, само собою, к переулкам, знакомым пивнушкам, уголкам заветным, дворам, убежищ, бункеров, схронов,

прокуранных и нетопленных, заполненных до предела твореньями авангардными, разговорами за бутылкой до утра, голосами западными, сквозь глушилок вой, из транзисторов, размышлениями в одиночестве и мечтаниями похмельными о возможном прорыве к выставкам, к стосковавшимся по искусству настоящему, неисчислимым, благодарным, восторженным зрителям и ценителям изумлённым вдохновенных трудов, мастерских, бородастые и безбородые, сплошь, конечно, полузапретные, вне приманок официоза и капканов идеологии, прозябающие годами в неизвестности, в основном, или, что ненамного лучше, в известности для немногих, художники, вышли на свет Божий пёстрой ордою, со своими, конечно, работами, свидетельствами прозрений, бессонных ночей, наитий, бесспорных, для них, открытий, потащились, галдя, на зов: дорого братцы, внимание, да и вместе держаться порою всё же куда надёжнее, нежели тщетно пытаться выбиться поодиночке!

Ещё редкие в ту далёкую пору, в самой, что ни на есть, сердцевине шестидесятых, потому-то везде и всюду ожидаемые с волнением, привлекаемые с любовью, барды, все, в основном, удалые, голосистые, все молодые, совершенно не заматеревшие, в исполнении не поднапоревавшие симпатичных песен, в которых, как могли, выражали эпоху, настроенья людские тогдашние, кто бойчее и посмелее, кто с оглядкой и поделикатнее, вместе с лирикой, в общем котле, подперчив наудачу, смешивая и политику, и сатиру, и, конечно, всеобщий, повальный, негнибачимый юмор отечественный, помогавший всем выживать, настраивали свои рабочие инструменты, гитары, и выясняли у знакомых: куда идти, хоть прямо сейчас, немедленно, готовность номер один, со свежими, с пылу, с жару, новёхонькими созданиями?

Проявили здоровый, в общем-то, интерес к явлению новому старшие, в силу возраста своего и заслуг немалых творческих, представители столичной, весьма избалованной, виды выдавшей богемы, которую, разумеется, на мякине какой-нибудь ни за что ведь не проведёшь, сохраняя, впрочем, заметим, некоторую дистанцию.

Засуетились разом любопытные, вездесущие, всезнающие, успевающие побывать в самых разных местах, лишь бы там что-нибудь интересное, ну а лучше, конечно, скандальное, да, желательно, и с последствиями, чтобы им, пронырам и хватам, было что потом обсуждать меж собою, происходило: хлебом их не корми, не надо, и водой не пои, успеется, перебьются, впредь наवरстают, а возьми-ка да покажи, потрудись-ка, вынь да положь очередное зрелище.

Здесь же, судя трезво и прямо по всему, назревало нечто из ряда вон выходящее: веяло, вроде, свободой, уж точно – реальной радостью общения долгожданного, мерещилось столь насущное объединение сил под стягами литературы новейшей и наилейшего, сверхсовременного, надо же, дождались, выходит, искусства, угадывался азарт и даже, вполне ощутимо, сквозил временами едкий холодок безусловного риска, что придавало с ходу, встряхивая сознание и напрягая мигмом, заставляя в комок собраться, быть готовым к любым поворотам событий непредсказуемых, особенную остроту пульсирующим ощущениям.

В студенческих аудиториях и в комнатах общежитий, в курилках библиотек, во дворе МГУ, всем известном, находящемся в центре столицы златоглавой, странноприимной, краснотрёхзвёздной, на Моховой, не случайно вовсе давно уж называемом «психодромом», в салонах богемных для избранных, на тесных московских кухнях – очагах подспудного, тайного, домашнего, с водкой, с чайком, отечественного, родного для многих, инакомыслия, – наконец, на улицах прямо, в учреждениях, на предприятиях и в общественном людном транспорте все, решительно все, говорили почему-то лишь об одном.

– Новость слышали вы?
– Какую?
– СМОГ в Москве у нас!
– Ну ещё бы!
– Это, знаете ли, событие.
– Что-то в этом всё-таки есть.
(Вечное: с нами Бог!)
В СМОГ, поскорее в СМОГ!..

Не дремали, конечно, и власти.
В красной масти – сплошные напасти.
Пресловутые страсти-мордасти.
Разорвать готовы на части.
Разобраться бы? Сохранить?
Пожурить бы да побранить?
Нет, куда там! – скорей казнить.
– Проследить!
– Приструнить!
– Устранить!

Идея создания СМОГа принадлежит – придётся вам помнить об этом – нам двоим, поэтам, друзьям в далёкие годы – мне и Леониду Губанову.

А вернее – всё-таки так: моя – поначалу – идея, Лёнино – позже найденное, мистически точное слово.

Начиная ещё с сентября шестьдесят четвёртого года, со времени нашего с Лёней знакового знакомства, стремительно переросшего в молодую крепкую дружбу, я всё твердил ему, что хорошо бы собрать наших единомышленников, людей интересных, творческих, и, что важно для нас, обязательно одарённых, с таким условием, только так, бездарных смутьянов нам не надо, – собрать воедино, потому что в таком вот единстве видел я и хорошую почву для дальнейшего, неперемного, совершенствования, поскольку таковое всем нам нужно и настоящее, то есть плодотворное и достойное, будем в это верить, общение, которого, согласитесь, никогда и нигде, и особенно в годы молодости, когда жажда знаний столь велика, просто ничем не заменишь, настолько оно нужно.

В пример приводил я нашу криворожскую группу поэтов, рассказывал увлечённо, подробности характерные и детали припоминая, как у нас было здорово, как эта дружеская среда помогала мне, вдохновенному и наивному провинциалу, постепенно сформироваться, обрести кругозор, найти свой собственный путь в поэзии.

Среда – это очень важно. И настолько важно, что в будущем, уж поверьте на слово, знаю, что сегодня вам говорю, всё её значение огромное просияет и возрастет.

Среда – это вовсе не стайка, не стадо, – такое стадо можно было увидеть запросто на любом из московских, бесчисленных, бессмысленных, так вернее и резче, литобъединений.

Среда – это всё же сообщество, некая группа людей, где все, так лучше, свои, где люди, чуткие к слову и отзывчивые, подчёркиваю, внимательные к соратникам, но ещё ведь и пони-мающие, сумеют, со всей своей трезвой доброжелательностью, и выслушать, как никто, спокойно и терпеливо, тебя, и, возможно, понять.

Так тогда понимал я это – и был, безусловно, прав.

Среда – это, прежде всего, так скажу я, возможность развития, духовного и ментального, возможность движения вперёд.

И соратники в этой среде, такой вот, отзывчивой, искренней, образованной, одарённой, должны быть надёжными, больше, проверенными на прочность, не с улицы вовсе, но, в хорошем, смысле, особенными, то есть, нечего тут смущаться, слово точное, так и надо, так всегда и бывало, избранными, по крайней мере, пускай, выбранными, отобранными нами, строго, придирчиво, из множества претендентов на членство в среде, на участие в наших предполагаемых собраниях, всяческих действиях и в нашей работе творческой, – здесь, я надеялся, нам поможет наше чутьё.

Лёня слушал меня – и всё, всё решительно, что услышит, впрямь по старой присказке русской, то и дело на ус мотал.

Однако, надо заметить, никому вообще никогда не желающий уступать своё, порою условное, но, в его представлении, лидерство, в любом, даже малом самом, начинании, и в любом, иногда и сомнительном, деле, – видел будущее содружество по-своему – шире, проще, нет, пожалуй, так: примитивнее и не то чтобы демократичнее, но грубее, гостеприимнее, что ли, как-то по-хулигански, как в компанию разбитную принимал бы дворовых ребят, что, как вскоре немедленно выяснилось, нанесло хорошей идее непоправимый ущерб, даже удар, жестокий, как оказалось, пусть не намеренный, но удар, ничего не поделаешь с этим, превратив её, вот что грустно, с истоков самых, с такого славного, верилось нам на первых порах, начала, в движение, наподобие каких-то категорически неприемлемых, отдающих за версту политикой мнимой и нелепой, с душком анархии, с бестолковщиной, с безалаберной и лубочной революционностью: все, мол, к нам идите скорее, кто надумает, кто пожелает, у нас хорошо, у нас привольно, лучше, чем в прочих местах, мы всех принимаем, всех у себя привечаем.

Дал промашку Губанов. Губительную. Ошибся. Переборщил. Не учёл разношёрстность ринувшейся к нам ошалелой публики.

Но что мне теперь об этом сетовать? Что грустить?

И то слава Богу, что всё же немало в те дни оказалось рядом с нами действительно верных, вот что ценно, хороших людей.

Лёня был неисправимым, неистовым фантазёром.

Едва забрезжит какая-нибудь мысль, мало-мальски стоящая, или, может, идея новая, или что-нибудь, с ходу, с маху, безоглядно, с места в карьер, наталкивающее разом его на действие некое, немедленное, причём, действие, потому что иначе он просто не мог, иначе совсем не умел вести себя, попросту сдерживать, контролировать, хоть немного, – как он в голове своей забубённой уже всё прокрутит, вообразит, вдохновится, возликует, – и впрямь ему кажется, что, смотрите-ка, всё свершилось, как намечалось, ура, победа за нами, вот оно, состоялось, – а на самом-то деле всё, ну хоть тресни, хоть расшибись, хоть запей с огорченья горькую, всё, всегда ведь, обычно складывалось куда прозаичнее, чем ему, воспалённо-взвинченному, обычно воображалось.

Он и сам, заводной, увлекающийся, независимо от меня, ещё до нашей с ним дружбы, носился, как он мне поведал однажды, с идеей сплочения творческой молодёжи.

Ему, такому порывистому и столь удивительно быстро, по-сказочному легко, сходящемуся с людьми, хотелось чего-то большого, подлинного, такого, что стало бы делом великим его стремительной жизни, что даже – а кто его знает? всякое ведь бывает! – может, и обессмертило бы в грядущем имя его.

Это было бы уж и вовсе, по-губановски, замечательно.

Мечта о светлом, невиданном, с перезвонами колокольными, с песнопеньями, величаниями, славословьями должными, празднестве, о торжестве свободного, неподцензурного творчества, о выходе с тем, что было нами, пусть молодыми, но тружениками, к тому времени,

знаменательному, во всех отношениях, создано, к слушателям и читателям, обернулась для нас, наивных мальчишек, для прочих – героев, страдальцев и даже мучеников, которым все поголовно сочувствовали, как издревле у нас на Руси повелось, которых поддерживал всякий, в ком совесть была не убита, в ком сердце билось горячее, в ком крылатая пела душа, не драмою вовсе, что вы, о нет, натуральной трагедией.

Но иначе и быть не могло.

Ведь самому советскому режиму, с его казёнными порядками и громадным арсеналом средств подавления любой нестандартной, новой, свежей инициативы брошен был нами вызов.

Празднество нашей молодости, несмотря на все огорчительные преграды и многие беды, всё-таки состоялось, поскольку, надо признать, молодая упрямая сила была в нас всегда через край, да и творчество наше в итоге, закалившись, окрепнув и выжив, одержало победу над злом.

В нашей мистерии мы честно, с полнейшей отдачей, «на разрыв аорты», бесспорно, сыграли роли свои.

Вот жертвы только нередко бывали, как-то жестоко, не по возрасту, не по правилам, слишком уж велики.

Опыт давался – с кровью, с болью, порой – ценою жизни, ценой изуродованной столь рано и так по-варварски грубо, надолго, судьбы, происходило всё – только всерьёз, никак не иначе, определялось решительно, бесповоротно, сразу и навсегда.

Выстоять было непросто.

Губанов нашёл ключевое слово, пароль, девиз для целого поколения.

Это, все признают, – действительно, без булды, как сказал бы он сам, огромная, личная, вроде Георгия боевого, или, может быть, ордена Славы, лишь его, прозорливца, заслуга.

Из песни слова не выкинешь.

Хотя, признаюсь, понимали мы с ним, героем богемным, это явленное неожиданно, в озаренье пришедшее слово совершенно по-разному сразу же и настолько по-своему каждый, что в итоге решили: важно, чтоб осталось оно – со своею несомненной, особенной тайной и своей правотой непреложной – таким, каково уж есть, – ну а мы свои убеждения при себе оставим, поскольку нас, пожалуй, не переделать: оба – личности, оба – с характером, оба – молодые, оба – поэты, и фантазии у обоих предостаточно, – посему слово стать обязано – делом.

Песни, само собою, у нас были тоже разные.

Лишь одна была общая – СМОГ.

СМОГ – об этом я говорю всегда, повторяя сознательно краткое определение былого содружества нашего, поскольку некому больше сказать об этом, да так, чтоб ясно всё стало сразу же любому, – значит сумел.

Сумей состояться как творческая, всем интересная личность, выстоять, выжить, остаться человеком в таких условиях, когда и дышать-то трудно, – вот в чём суть сокровенная этого брошенного в пространство, сквозь все времена, призыва.

Было нас, молодых, собравшихся в середине шестидесятых, как вокруг огня полыхающего, вокруг ночного костра, вокруг всем нам согревающего сердце во тьме сгустившейся понятия светлого – СМОГ – весьма и весьма много.

Сказки мы не увидели. Какая там сказка! С явью, причём советской, режимной, пришлось нам дело иметь. И реальные, вовсе не сказочные, государственные, с партийными билетами, страшные силы старались нас уничтожить, в порошок стереть, растоптать, развеять по ветру, так, чтоб и не вспомнить вовек, чтоб и следа не осталось.

Однако же нас, как ни странно, сумевших выдержать все испытания сложного времени и судьбы, сумевших сказать своё слово и дело своё довершить, и теперь немало.

Есть две основных расшифровки загадочной изначально и магически притягательной доселе аббревиатуры, в галактике нашей культуры созвездием вспыхнувшей, – СМОГ.

Более сдержанная и достаточно содержательная Смелость, Мысль, Образ, Глубина.

Более дерзкая, с вызовом бузотёрским, всем и всему, —

Самое Молодое Общество Гениев.

Первая – определяет, выразительно, лаконично, меру зная, тогдашние наши устремления и задачи.

Её-то предпочитал всегда я, всю жизнь, – и тогда, в горнилах шестидесятых, и сейчас, в свои зрелые годы.

Она – и скромней, и достойнее эпатажно-блажной второй.

В ней не то чтобы некая новая программа, что ли, заложена, развивать которую можно бесконечно и совершенствовать, а выявлены отчётливо лишь некоторые, но важные ориентиры, вехи на пути, – далеко не все, впрочем, из тех, что важны были, в любую пору, для меня самого, для меня лично, конкретно, – в творчестве.

Вторая же расшифровка – больше, причём в открытую, без тени малейшей смущения, без обиняков, говорит о молодой задиристости, о кураже, о гусарстве этаком, напоказ, чтоб видели все и знали, какие же удалы и смельчаки лихие эти смогисты, чем соответствует впрямь действительности.

Её всегда, неизменно, предпочитал Губанов. И упрямо стоял на своём.

Гении, мол, и всё тут. Целая россыпь гениев.

Да откуда им, стольким, взяться?

Так никогда не бывает, пусть на чудо поэт уповает, фантастика это, мечтания, прикидки навскидку, метания, завихренья воображения, в эмпиреях туманных кружение, уж это и Лёня прекрасно, лучше некоторых, понимал.

Однако ему – хотелось так думать, хотелось так считать, и никак иначе, вот так он вообразил себе содружество наше, – и я сразу же, прекратив споры и уговоры, махнул на это рукой.

Пусть так говорит, пусть так считает. Что с ним поделаешь?

Сам-то Лёня всегда ведь знал, как и сам я знал ясно и твёрдо, что настоящих смогистов, по самому что ни на есть большому, высокому счёту, двое всего – я да он.

Чем бы дитя не тешилось!.. Пусть резвится. Игра так игра.

Хотя, спору нет, настоящим талантом Господь никого из основных – помимо нас двоих с Губановым – лучших, или, можно и так, именитых в чужеземных странах и в нашей несуразной стране, смогистов, похоже, что не обидел.

И не зарывали мы в землю таланты свои, такие, какие уж были у нас, а развивали их, не сдавали свои позиции и не шли порой на уступки, а мужали и совершенствовались, каждый, понятно, по-своему.

СМОГ никогда, запомните, не был литературным направлением, обособленной группой, дисциплинированной, с установками непреложными, с «цеховой» своею программой.

СМОГ – содружество сил неумных, молодая когорта, плеяда.

Энергия при рождении СМОГа, как при рождении звёздной системы новой, оказалась такую мощной, долговечной, жизнеспособной, что питает нас до сих пор.

Больше того, энергия эта питает жизненными токами и современников наших, прекрасно помнящих выступления наши былые, знающих наше творчество.

Есть в этом своя, неподвластная времени, закономерность.

В СМОГе, в годы бесчашья всеобщего, перед каждым его участником, сразу ставилась непростая, подчеркну я, задача: быть!

Это само по себе уже собирало нас, подтягивало невольно, давало ориентиры.

Было ведь на кого нам равняться в годы минувшие, грань забвенья перешагнувшие, было ведь что сказать.

Передавалось это и нашим вернейшим слушателям (в то далёкое время, когда стихи в основном, представьте, существовали в устном исполнении, хорошо воспринимались с голоса), и читателям наших, вначале самиздатовских, а потом и типографским способом изданных, большей частью с запозданием изрядным, книг.

И совсем не заморским туманом отзывалось в людском сознании многозначное слово СМОГ, а стойкой, упрямой верой в таинство русской речи, излучающей дивный свет.

Ведущими, то есть главными для всех, поэтами СМОГа, звёздами, как теперь говорят, были мы с Губановым.

Потом, поотстав изрядно поначалу от нас, а позже и вовсе отмежевавшись, обособившись, шёл Кублановский.

Так уж, естественно, чётко, распределились роли.

Мы с Лёней – друзья и соперники, норовящие перегнать на дистанции, длинной и сложной, друг дружку в творческом нашем, отчаянном соревновании, – а потом уж все остальные.

Собственно говоря, соперничать, даже в шутку, с Губановым у меня желания, никакого, ни малейшего, никогда и нигде, и в мыслях-то не было.

Слишком был я уже и тогда, в молодую пору свою, в пору бури и натиска общую, неизменно, сам по себе.

Если уж кто и соперничал – то это, конечно, Лёня.

Азартный, рискованный во всём, он просто навязывал мне это, ненужное, странное, выдуманное соперничество.

Приходилось, как ни крути, принимать откровенный вызов.

Однако тягаться со мной и в те далёкие годы никто, помимо Губанова, помнится, не решался.

(Не случайно ведь, полагаю, года три, пожалуй, назад, в Москве, зимой, в феврале, в одной из нынешних наших, теперь всё более редких, всё более грустных бесед, со вздохом, со жгучей слезой в уголке слегка воспалённого и неловко, смущённо сощуренного, как от слишком яркого света впереди, усталого глаза, вырываясь навстречу ко мне из своей седины, из морщин, из досадных, броских примет беспорядочной, нищей жизни, из всего, что его тяготило, что ночами щемило, томило, что мешало ему дышать, всем лицом посветлев неожиданно, словно к морю шагнув, как встарь, почему-то помолодев, как-то ясно и просто, по-детски, да и только, взглянув на меня, сказал мне Аркадий Пахомов:

– Талантливее тебя, прошу тебя помнить об этом, вообще никого никогда я в жизни своей не встречал!

Ну а мне самому, придётся напрямую признаться ныне, давно и прекрасно ведомо, что так всё на деле и есть.)

Лёня быстро, скорее прочих окружающих, это понял.

И, как это бывает в спортивных, допустим, соревнованиях, никому вообще не желая уступать желанное первенство – всё-таки поделил, для себя, в основном, любимого, это первое место со мной, смирил себя, как умел, сдержал, пересилил, хотя всегда был готов к бунту.

Ревность его, хроническая, чудовищная иногда, не знающая ни меры, ни тактичности, ни приличий, надо честно заметить, была, вопреки людской, только творческой.

Губанов, при всех издержках и свойствах неизъяснимых, парадоксальных даже, характера своего, был достаточно щедр и умён, чтобы не распространять свой, одному ему нужный, соревновательский пыл ещё и на многочисленные жизненные аспекты.

Но так ему всё же хотелось – быть главным, главнейшим, быть у всех на устах, обеими ногами прочно стоять на этом самом, поди же ты, первом спортивном месте, – что я, совер-

шенно, искренне, равнодушный, так я устроен, и тогда, и теперь, тем более, ко всяческому дележу, охотно прощал ему эти дворовые, может, ухватки.

Самым важным всегда для меня было то, что его небывалая одарённость, всеми вокруг ощущаемая мгновенно, прямо-таки лучилась, была вдруг из него какими-то мистическими, фантастическими, электрическими разрядами, что был он чудесен, весь в сиянии этого света, исходившего от него постоянно, – света поэзии.

Я даже им любовался порой – так был он хорош, так радовался своей стремительной, звонкой славе.

Молодой Губанов, так вышло, так сложилось, и так ведь бывает в поэзии, – это вершинный, несмотря на возраст, Губанов.

Такого в нём вскоре, всего-то через несколько бурных лет, не было больше – меж нами жил совсем другой человек.

Взлёт губановский ввысь, к небесам осиянным, – загадка, феномен.

Для литературоведов, понятно. Прежде всего.

Предстоит им ещё побряхтеть, как положено – с запозданием, предстоит ещё поломать свои головы, слишком уж заняты тем, что выгоднее для них, что удобнее в ситуации, называемой ими, при власти любой, как положено, "литературной", а на деле – всегда конъюнктурной и далёкой весьма от того, что действительно – литература, предстоит им ещё размышлять над загадкой этой давнишней. Как нарочно, она отложена в долгий ящик, – ну точно, для них.

Не для меня же, право!

Я-то в годы молодые наши знал его, как никто, и когда-нибудь, полагаю, ещё расскажу об этом.

Сформировались мы оба с Губановым одновременно, параллельно как-то, причём совершенно ведь независимо, вот в чём штука, один от другого, надо помнить, – довольно рано.

Написал и подумал вдруг – почему же "довольно рано"? Нет, как раз очень рано. Верней и прямей: небывало рано.

С этим когда-нибудь ещё долго будут потомки разбираться. А разберутся ли наконец-то – вот уж не знаю.

Мы ничего до осени шестьдесят четвёртого года, покуда не познакомились, друг о друге вовсе не знали.

Я жил в Кривом Роге, в провинции, он жил – в столице, Москве.

С шестнадцатилетнего возраста я писал серьёзные вещи, отказываться от которых и не думаю, даже сейчас, когда уже столько сделано за долгие годы работы.

С Губановым – аналогичная история. Так-то. И он в шестнадцать-семнадцать лет писал уже вещи, которые потом любила и знала наизусть половина Москвы.

Раннее впрямь развитие, – скажут всеядные умники.

Вот-вот. Действительно, раннее. Да не просто раннее. Сразу же определяющее – всё дальнейшее творчество.

Помню, поздней, суровой осенью того же, да, именно так, шестьдесят четвёртого, полного встреч, событий, наитий, стихов, наверное – в ноябре, потому что было уже холодно, да и снежно, повёл меня Саша Морозов к знаменитому, многими чтимому тогда, в былом, человеку, передовому, из лучших московских, преподавателю переполненного студентами-вольнолюбцами МГУ, критику первоклассному и превосходно владеющему словом, устным и письменным, русским, чистым и точным, литературоведу с громким в шестидесятых, честно заслуженным именем, Владимиру Николаевичу Турбину, своему наставнику и Учителю с буквы большой, не только по Альма матер, но и в жизни, что важно тоже, даже более важно, пожалуй, ибо связано с верой немалой.

Турбин жил в ту пору в каком-то скромном, скромнее некуда, невзрачном, без броских примет, сразу и не разглядишь, толком и не запомнишь, с ходу и не найдёшь, небольшом, косо-боком слегка, но достаточно стойком домике, очень московском, даже, вроде бы, деревянном.

Помню присутствие холода в огромном, простуженном городе, закутанное шерстяным, плотно затянутым шарфом горло, повыше поднятый воротник моего не греющего, демисезонного, лёгкого, короткого слишком пальто, надвинутую поплотнее зимнюю шапку, даже опущенные, по привычке, вниз, прикрывшие щёки, уши её, для тепла.

Снег на проезжей части невыразительной улицы, с натугой сдвигаемый в стороны похожими на жуков или каких-то роботов из фантастики зарубежной снегоуборочными, скрежещущими по асфальту скребками, совками, лопатками железными, несуразными, но, пожалуй, необходимыми для работы трудной, машинами.

Снег на щербатом, скользком, леденеющем тротуаре, густой, слежавшийся, плотный, высокий, холодный слой давно идущего снега, в который ноги немедленно, как будто бы так и надо, проваливались по щиколотку.

Ботинки мои вначале слегка промокли, потом совсем промокли, да так, что мне пришлось туго, но виду я, разумеется, из упрямства, не подавал.

Потом – опять, ну конечно же, снег, уже во дворе, тихом, каком-то окраинном, и совершенно безлюдном.

И в небе, свинцово-сером, тусклом, слишком холодном, – кружащийся, завихряющийся, мелькающий, разрастающийся, до боли в затылке, до ряби в глазах, сквозь ресницы сомкнутые прорывающийся к зрачкам то и дело, московский снег.

Дом, древесно коричневеющий, отголоском приюта веющий сквозь повальный, обваль-ный, легальный, эпохальный, вселенский снег.

Возле подъезда – чья-то брошенная машина, похоже – «Москвич», постепенно, вроде бы, так, на первый взгляд, а на деле быстро исчезающая внутри вырастающего на глазах коренастой горой сугроба.

Дверь, ведущая внутрь, в подъезд, глухо скрипнула, отворилась.

Темноватая, узковатая, с причитаньем скрипучим, лестница.

Дверь квартиры, обитая стёртым, в тусклых звёздочках жёлтых гвоздиков, образующих простенький, скромный, чуть заметный узор, дерматином.

Какой-то нелепый, слишком отдельный, самостоятельный, подчёркнуто обособленный, независимо от всего вокруг, от подъезда, лестницы и двери самой существующий, обитающий сам по себе в этом доме и в мире, звонок.

Позвонили. Ждали недолго.

Нам открыл Турбин. Улыбнулся. Поздоровался. Пригласил – жестом, словом, взглядом – в квартиру.

Мы, один за другим, вошли.

Комната, одновременно тесная и просторная, вроде бы со сквознячком, но, между тем, и тёплая.

Окно с невзрачными, плотными, отдёргнутыми свободно в стороны, чуть шевельнувшись от вторжения нашего, шторами.

На синем, с морозной проседью сквозной, оконном стекле – сказочные, былинные, палехские узоры.

Простейшая – самое нужное – с явной мерой во всём – обстановка.

Рабочий – письменный – стол.

Множество разных книг.

Посреди тесновато-просторной, тепловато-прохладной комнаты – почему-то именно в центре, в середине, прямо под лампой, рядом с источником света, – высокий, вежливый, сдержанный в движениях и в эмоциях, кумир молодёжи, Турбин.

Внимательные донельзя, проницательные, сощуренные, словно вправду самостоятельно, независимо, слишком отдельно от спокойного, нет, статичного, временами почти неподвижного, ни на миг не дрогнет, лица, существующие, своей собственной жизнью живущие, внутренним зрением что-то важное прозревающие здесь и повсюду, глаза.

Лицо – с устойчивой маской привычной, непросто давшейся, с годами, невозмутимости, с какой-то сознательно вежливой, сросшейся с ним давно интеллигентностью, что ли, воспитанностью ли, сдержанностью ли, в чертах, – и что там, за этой оболочкой, какие там бури назревают – поди гадай.

Лицо человека мыслящего, большей частью, видать, и живущего там, в глубоких мыслях своих, выражаясь по-русски – в думах, и только при необходимости, временами, нечасто, изредка, вынужденно, возможно, как в форточку приоткрытую, выглядывающего вдруг сюда, в повседневность, в явь.

Я бы сказал, что это лицо настоящего труженика.

Мыслить – это большой труд.

Об этом вполне убедительно и наглядно мне говорила и сетка лёгких морщин на чистом, высоком лбу.

А глаза – глаза были грустными.

И почувствовал я тогда в них, глазах, грустящих о чём-то нам неведомом, потаённом, там, за блестящими слегка, чуть расширенными зрачками, в недоступной чужому взгляду глубине их бездонной, внутри, – нескончаемый, давний, дивный, одержимо, в часы любые, в дни любые, оберегаемый от ненужных, грубых вторжений, поддерживаемый упрямо, каждый миг, всегда, неустанно, спасительный и целебный для этого, впрямь отрешённого от быта, от благ, человека, провидческий, творческий, жреческий, блаженный огонь. Жар души.

Турбин хотел непременно услышать мои стихи.

Пришлось мне, сосредоточившись, поначалу закрыв глаза и уйдя в себя, но потом, незаметно как-то, увлечшись и невольно раскрепостившись, по традиции – просто распевшись, да и только, читать ему некоторые мои, те, что вспомнились, по чутью, по наитью, тогдашние вещи.

Для того ведь и приведён был – сквозь холод и снег – сюда.

Полагалось тогда – читать.

Слушал Турбин меня как-то совсем по-своему, чутко, так музыканты слушают, очень внимательно.

Слушал – каким-то особенным слухом, накрепко связанным, как я подумал сразу же, наблюдая порой за ним, с этим вот, внутренним, кровным, в глазах и там, за глазами, внутри его существа, скрываемым, оберегаемым, но всё-таки прорывающимся в мир, потаённым, властным, неуёмным, страстным огнём, жаром его души.

Когда я закончил чтение, он сразу же и решительно, шагнув ко мне, напрямик, сказал мне такие слова:

– У меня такое, Володя, всё крепнущее ощущение, что вы – совершенно сложившийся поэт. Настоящий поэт.

И он был, конечно же, прав.

Я и сам это твёрдо знал.

Вот и Губанов был – сложившийся поэт. Какой уж есть, каким рождён, со всеми своими взлётами, безумными рывками вперёд и в стороны, издержками, грехами, но, следует запомнить, – органичный, для некоторых слишком непривычный, неповторимый, фантастически поистине талантливый, решительно во всём.

(А может, и так – из ямба в дольник перешагнём:

Вот и Губанов был – сложившийся – понимаете ли сейчас вы меня? – поэт. Какой уж есть, со своими – всеми – дивными взлётами, всеми – что делать! – издержками, но – живой, во всём органичный, фантастически одарённый).

Мы с ним были совсем, совсем разные.

Голос, тон, манера, фонетика, интонации, ритмика, почерк, музыка, изобразительность, – всё, абсолютно всё – разное.

Но – вот что, и в самом деле, поразительно – в чём-то каждый из нас, полярных во многом людей, дополнял другого.

Почему же именно так происходило? В чём был секрет? Что за странность такая?

Теперь-то я знаю: мы оба в период общения нашего просто были, два друга-погодка, носителями поэзии, выразителями её, каждый, само собою, по-своему, – но она, поэзия, и она, русская речь родная, в их величии и единстве, в их космической необъятности, такой, что хватало с лихвою всегда, вообще на всех, будто бы изумлялись, радовались тому, что мы с Лёней были – подлинными, работали оба – во славу речи, во имя поэзии.

Мы дополняли друг друга точно так же, как дополняют друг друга, допустим, лучи, или какие-нибудь светящиеся объекты, выражающие наглядно то, что есть в мире нашем свет.

Дополнение вовсе не схожесть.

Дополнение – это движение оправданное к гармонии.

Один чистый звук – хорошо, а два чистых звука – в терцию, уже звучат, как залог будущей светлой мелодии.

Вот в чём дело. Надеюсь, понятно.

И, может быть, вовсе мы друг друга и не дополняли, а просто-напросто – пели, звучали, это была музыка, это было наше тогдашнее пение.

Орфичность – вот что в основе пения этого было, вот первейшее свойство стихов наших – моих и губановских.

И у меня, и у Лёни это было – очень ко времени.

Публике это нравилось. Приходилось всегда по душе. Сердце вдруг задевало. Струны порою затрагивало, тайные, но и отзывчивые, – где-то там, глубоко, внутри. Помогало дышать свободнее. Заставляло блеснуть глаза. Изумляло и вдохновляло. Просветляло нередко, пожалуй.

Вот мы и читали, читали, – везде, куда звали нас.

Я почитаю – Губанов меня сменяет, потом снова, бывало, я читаю, потом – Губанов.

Я читал – закинув по-птичьи светловолосую голову, закрыв, по привычке, глаза, подняв лицо своё вверх, руки расправив крыльями, читал – получалось: пел, читал я – переживая всем существом своим каждое стихотворение, словно заново, тут же, на месте, перед слушателями, его сочиняя, и весь, надолго, неизменно переключался на это чтение-пение, весь уходил куда-то внутрь, в сердцевину голоса своего, этой музыки, сызнова, как и прежде, переполняющей без остатка всего меня, – читал обычно по памяти, по наитию, по чутью, и забывал обо всём, кроме этого звучного, странного для других, для меня самого, но всегда органичного чтения, – о времени, об окружении, обо всём совершенно, – и стоило мне такое чтение-пение простое всегда и везде огромного напряжения, и когда я читать заканчивал, то стоял обычно, весь вымотанный, взмокший, с ясным, живым ощущением только что, в трансе, в полёте, выполненной, огромной, труднейшей, важнейшей работы, и, приходя в себя, успокаиваясь постепенно, я отчётливо понимал: был это – певческий труд. Орфический. Именно так. Видно, в крови это было. Древнюю нашу традицию, ведическую, корневую, – читающий в шестидесятых, я, как умел, продолжал.

Губанов – читал по-иному. Он – заводился. Взвинчивался. Притоптывал вдруг ногой, ритм отбивая. Руками взмахивал. Пел. Причитал. Выл иногда. Постановывал. Вздыхал. Срывался на крик. Шептал. Бормотал. Приговаривал. Небольшой, но пластичный, свободный в движениях, словно в разгону вбегал в звучание вещи, читаемой им, – и там, в завихрениях звуковых, в сочетаниях знаков и смыслов, жил, как в волшебном царстве. Властвовал над строением строки, над кружением фразы, над всей пробуждённой фонетикой, над строем, казалось, тут же рождаемым. Был – шаманом. Ворожил. В другие миры улетал. В измеренья другие. Возвращался оттуда – усталым. Но – принесшим с собою оттуда свет ему открывшихся знаний, откровений. Придя в себя, совершенно бледный, смотрел, широко распахнув глаза, на собравшихся. Оживал. Улыбался. Курил устало. Долго в нём ещё оставалось то, что видел он – там, за гранью повседневности, в том пространстве, где недавно он побывал.

Сохранились, чудом, возможно, фотографии старые, считанные: на них я – где-то читающий людям свои стихи.

Скульптор, друг мой старший, Геннадий Бессарабский, однажды вылепил меня – молодого, стройного, девятнадцатилетнего, в бурный начальный период СМОГа – читающего стихи.

Великий акварелист, незабвенный Артур Владимирович Фонвизин, ценитель искренний давних стихов моих, в мае невероятного, сложного шестьдесят пятого, написал мой портрет: и там я – читаю.

И так далее. Вдосталь было самых разных изображений.

И всегда – художники чувствовали и по-своему выражали орфичность, суть изначальную творчества моего.

Сохранились, к счастью, наверное, как свидетельства давнего времени, многие фотографии читающего Губанова.

Помню его лицо на них. Какая огромная работа происходила в нём, в его сердце, в душе, в сознании, воспламенённом стихами, во время чтения!

Это ведь вам не хиханьки, это не просто так, никаких вообще усилий не прикладывая для этого, читать, как читают обычно свои заурядные опусы прочие, несть им числа и названия нет им, пишущие.

Нет, это всегда – работа.

Всегда – бесконечное творчество.

Писание, то есть, создание стихов. И чтение их, воссоздание, всякий раз по-новому, без повторов.

Этот груз – многочисленных, сильных, но не издаваемых вовсе, в самиздате живущих стихов – тащить на себе, годами, даже вконец безысходными, долгими десятилетиями, – ох, какая это работа! Нет, не выразить. Мука просто.

Понимают ли это, хоть чуточку, литературоведы?

Понимает ли это – хоть кто-нибудь из современников наших?

Отчасти, слегка, – наверное.

До конца же – пожалуй, никто.

Кроме самих поэтов.

Мы с Губановым – честно тащили, каждый, понятно, по-своему, груз немалый, нас тяготивший, молодых своих, многим известных, только вовремя так и не изданных во пределах отчизны, стихов.

Когда-то, в шестидесятых, без всяких надежд на издание, можно было хотя бы прийти к тем, кто жаждали встречи с нами, к тем, кто нашими жили словами, почитать этим людям стихи. Почувствовать – их внимание. Ощутить иногда – понимание.

Вот потому-то мы оба и читали. Часто читали.

Работали – в поте лица, без всяких преувеличений.

Читали. Чтение было – жизнью для наших стихов.

Совершенно ведь разные, знали мы об этом прекрасно, поэты.

Но слушатели доходили до экстаза, бывало. Рыдали, умилялись чему-то, затронувшему чувства добрые их, восторгались.

Нашим чтением, полагаю теперь я, – была достигнута некая, крайне важная, гармония своеобразная, ожидаемая людьми давно уже – и наконец-то услышанная, воспринятая искренне и навсегда.

И даже больше, чем просто – гармония, то есть голос, линия мелодическая, – и с нею сопровождение, стройное, ненавязчивое, аккорды какие-нибудь.

Мы, двое поэтов, читающие людям свои стихи, – это было звучание сложное, необычайно мощное.

В нём параллельно шли и развивались различные темы, сразу же несколько тем, сразу много мелодий.

Это была настоящая полифония. Певческая. Жреческая. Лирическая. Эпическая. Контрапункт.

Приветствую вас, учитель, Иоганн Себастьян Бах!..

Да ещё и горящие свечи...

– Наше время – свеча и полынь.

А душой этой музыки, льющейся так свободно, была – орфичность.

Многие, кстати, верно чувствовали её.

Не случайно, поверьте на слово, далеко не случайно, Андрей Битов, под настроение, видимо, вспоминая прошлое, написал однажды, году в девяностом, с опозданием, разумеется, изрядным, о нас двоих:

«Рассвет пятидесятих застиг всех врасплох, пока глаза привыкали к свету, сменился закатом, и день шестидесятих так и не наступил – и тут, к ночи, некстати распелись два юных соловья – Владимир Алейников и Леонид Губанов, освещая себе ночь собственным пением. Музыка и дыхание, серебряное горло. Что они пели, так заходясь? Поэзию как таковую. Так ценят певчую птицу – по долготе одной арии. Двадцать лет ночи вытягивали они свою ноту. Песнь Губанова оборвалась вместе с ночью. Алейников привыкает к свету».

К свету я с трудом привыкал во второй половине сумбурных, перестроечных, с крохой свободы, восьмидесятих, один.

Губанова в те времена, с небывальщиной их очевидной, уже не было несколько лет, непростых, быстротечных, в живых.

Нечто схожее было у нас, молодых, но известных, с Лёней в отношении нашем к поэзии, в отношении нашем к речи.

Нечто схожее – и различное.

Почему? Потому что – личное.

Разделить его – невозможно.

За него и теперь – тревожно.

А тогда его – берегли.

Уберечь, похоже, смогли.

Сохранить свою суть – сумели.

Шли, по-своему каждый, к цели.

Но – какой же? Каждый – к своей.

Догадаться и ты сумей.

Ты – читатель. Стихи читай.
О подробностях – не пытай.
Вдосталь строк впереди и встреч.
Быть победе! Порукой – речь.

Приходим куда-нибудь, где нас, героев богемы, друзей закадычных, а может, и вынужденных друзей, временных, связанных тонкой нитью духовной, поэтов, и всё этим, в общем-то, сказано, и всё-то лишь с этим и связано, как будто свыше приказано и жизнью потом доказано, и творчеством нашим всем, и судьбами нашими, – ждали.

Два парня. Один – типично московский. Другой – нетипичный, вроде – почти столичный, частично – провинциальный.

Одногодки. Я – чуть постарше. На полгода всего. Но всё же!
Получалось уже, что Лёня, мой соратник, меня моложе.
Ненамного моложе. Но...
Старшинство моё – здесь видно.
Значит, Лёня – мой младший друг.
Так считал я. И – все вокруг.
Возраст значил для нас так много.
В годы молодости. Ей-Богу.
(Возраст значит сейчас для меня...
Что же значит? Да то и значит.
Пусть о чём-нибудь сердце плачет.
Но – хватает в душе огня).
Ровесники. Да. Ровесники.
Сверстники. Может – вестники?
Может, и так. Привет.
Всем. Из ненастных лет.

Я – значительно выше ростом, тогда ещё – стройный, худой, подвижный, с мгновенной реакцией – на звук, на свет, на малейший шорох, со слухом особым, обострённым, с прекрасным зрением, за себя постоять умеющий, на язык достаточно острый, весь приподнятый, словно рвущийся, прямо здесь, на месте, в полёт.

Лёня – ростом пониже, намного, но – крепенький, сбитый, складный какой-то, собранный в сгусток энергетический, в цепкий комок, из которого словно то и дело, всех задевая, сквозь время били в пространство электрические разряды.

Я – светлее, чуть с рыжиною.
И глаза у меня – зелёные.
И лицо – степное, широкое.
Лоб высокий. Скулы упрямые.
Скифский, крупный, с горбинкой, нос.
Щёки – выбриты. Губы – сжаты.
Напряжён – и всё же свободен.
Дар – при мне. И жизнь – впереди.

Лёня – потемнее, тёмно-рус, даже с приглушённой чернотой. Чёлка неизменная. Глаза – серые, чуть-чуть с голубизною, с дымкой, с поволокою, с хрустальным отсветом, с огромными зрачками чёрными, как уголья. На лбу – складка. Нос мясистый, как-то книзу вытянутый.

Брови нараспашку. Щёки пухлые. Комочком – подбородок. Вроде бы – подросток, школьник. Нет, юноша. Главарь. К тому ж, поэт.

Одеты оба совсем не по-модному, – так себе, то есть, что было, то и носили.

Я, как правило, в свитере старом, оранжевом почему-то, и лишь изредка – в пиджаке.

Рубашка под свитером, клетчатая.

Брюки немаркие, тёмные.

Разношенные ботинки.

Губанов – тоже в каком-то свитерке, с вылезавшим наружу расстёгнутым воротником рубашки, порою – в курточке, широкой, короткой, тёмной.

Брюки, всегда мешковатые, на коленях слегка пузырились.

Ботинки были получше моих, но зато по-клоунски выгибались подошвы их и нелепо всё время шаркали.

Словом, одежда простая у обоих. Без всяких изысков.

Было бы что носить, и только. Вполне достаточно.

Чай, не франты. Нам не до этого.

Благо, жили поэзией мы.

Никаких, вроде, явных признаков безусловной горней отмеченности в нас обоих – в глазах, на челе, выражаясь высокопарно, как там пристально к нам не присматривайся, так вот, с ходу, сразу, немедленно, почему-то не разглядишь. Может, зорче взглядеться стоит? Вдруг откроется нечто важное, небывалое? Вдохновение не написано броско на лицах. Может, вспыхнет? Совсем ещё молоды.

В компании – вон какие колоритные дяденьки есть. Кудлатые, бородатые, в джинсах, в кожаных, замшевых куртках. Некоторые – при галстуках, в заграничных добротных костюмах, с перстнями на пальцах, с платочками напоказ в нагрудных карманах. Но таких – меньшинство. Большинство же – небрежно, с вызовом даже одеты. В ботинках грубых. В штанах, заляпанных красками.

Да и тётеньки здесь под стать мужской разношёрстной братии. Некоторые – накрашены, при кольцах и при серьгах. Остальные – попроще, выглядят как-то демократичнее, щебечут невзрачными птичками, закатывая глаза. И те, и другие знают цену себе. Вниманием они, столичные дамочки, вовсе не обделены.

Богема! И даже элита, как считают, они, наверное. Всем видом своим показывают, что вовсе не из простых они, что вы, что вы, они особенные, разумеется, даже избранные, несомненно, может быть – призванные, но – к чему? – да не всё ли равно! Сигаретным дымком растаяло что-то в прошлом. Какие правила в жизни бурной? Молва охаяла? Жест беспечный – да взгляд в окно.

Мы выпиваем с ними, курим, о чём-то сложном или простом говорим.

Но вот – после всех разговоров и затянувшихся сборов – просят стихи читать.

«Но лишь Божественный глагол...» – как Пушкин, раз и навсегда, сказал, – и всё преоб-
ражалось.

И всё преображалось вдруг – так, словно подан знак, – и звук сулил мелодии начало.

И, за мелодией вослед, блаженный разливался свет, чтоб дольше музыка звучала.

И не какие-то юнцы, птенцы, пускай и молодцы, стихи собравшимся читали – но их поэты. Их! И все – богемный цвет во всей красе – прекрасно это понимали.

Ко времени СМОГа у каждого из нашей чудесной двоицы имелся уже, представьте, вну-
шительный свод стихов.

Не какой-нибудь там несчастный десяток-другой текстов.

Сотни стихотворений и довольно больших поэм.

Вот что людей поражало. Прямо-таки озадачивало: как же это они, такие молодые, успели, сумели?

А вот, между тем, успели.

Так судьба вела. И сумели.

Молодость я вижу, явленную вновь.

Двоица премудрости – Истина, Любовь...

С Кублановским, которого звали мы все по-свойски, запросто, Кубиком или просто-напросто Кубом, получалась уже какая-то на поверку слишком условная, не совсем понятная троица.

С натяжкой, конечно. С большой.

Разве что – с доброй душой.

Но такой вариант, хоть Губанов и ворчал иногда на Куба, и претензии разнообразные, обоснованные вполне, к нему нередко высказывал, нас тогда почему-то устраивал.

Это несколько позже картина изменилась неожиданно. Да как!

Но об этом – нет, не сейчас, как-нибудь, при желании, потом.

К основному ядру СМОГа приросло такое количество народу, что вспомнить всех сейчас я не в состоянии.

Да и незачем нынче, наверное, их, бесчисленных, вспоминать. Многие, большинство, со временем незаметно, исподволь как-то, естественно, без излишнего шума, тишком, отселились или стали успешно весьма работать в далёких от литературы, новой, оригинальной, и новейшего, авангардного, современного искусства, за которые в оны годы столь активно и страстно ратовали, с практической точки зрения удобных для них областях.

Назову, с отбором сознательным, по причинам весомым, некоторых наших бывших соратников, жизнь и судьба которых определилась в той или иной мере под знаком гостеприимного, свободолобивого СМОГа...

...И тут я прервал свой рассказ.

По всего-то одной-единственной, но зато уж важной, такой, что важней не бывает, пожалуй, мистической прямо, причине.

Я понимал, что должен, нет, просто обязан сказать о СМОГе – по-своему, то есть так, как сказать в состоянии в наше время лишь я один.

Больше – некому говорить.

Да никто и не знает всего, что известно мне, потому что, хоть и живы другие смогисты, не они ведь создали СМОГ.

Я отчётливо понимал, что следует мне написать – пускай для начала, пока что, хотя бы простенький текст, познавательный, что ли, в хорошем, понятное дело, смысле этого слова, – нечто вроде своеобразного, нужного пояснения – для интересующихся, благо их много, а толком никто ничего не знает.

Потому и приходится мне – отдавал я себе отчёт в этом – не напоминать, а сызнова всё объяснять.

Растолковывать даже – чтобы внести в эти сонмы вопросов, которые столько лет задают мне разные люди, в разной степени любознательные, и особенно молодые, в эти скопища всяких вопросов, напоминающих изредка пенящиеся под свежим, налетевшим внезапно бризом, плещущиеся растерянно, вкривь и вкось, винтом, гребешки морских, грузноватых, медлительных, широких, с налётом свинцовым, с полосками синеватыми, с прожилкою малахитовой,

солёных, слоёных волн, движущихся спорадически к берегу нашему, некоторую, наподобие азбучной, ясность.

Пусть это подобье стихии немного уgomонится.

Я понимал, что просто вынужден написать хотя бы сжатый, доступный всем и каждому, текст.

Как говорится, для справки.

Больше того, был мне – голос.

Откуда? Конечно, из памяти.

Он буквально потребовал, чтобы серия книг моих о былой эпохе и людях, населявших эту эпоху, начиналась именно СМОГом.

Я попробовал объяснить, что о СМОГе уже в этой серии и так предостаточно сказано, в разных её частях.

Не хотел начинать со СМОГа.

Уверял, что сразу нарушатся – архитектоника, лад, то есть, попросту говоря, вся музыка. Но куда там!

Этот голос – из памяти, из былого, из времени – моего, сокровенного, личного, чистого времени, за которым, клубясь и тревожась, вставало пространство и уже назревало звучание речи, хранящей спасительный свет, – и слышать (упрямясь, ну точно как сам я всегда) ничего не желал.

Он твёрдо и резко, так, что куда уж твёрже и резче, заявил: СМОГ будет – в начале!

И тогда я смирился. Что делать!

Пусть написаны книги – и мне поработать осталось над ними, чтобы всё привести в порядок, чтоб душою был я спокоен за них, – но уважить надо мне, конечно, голос из памяти, потому что моя это память, а не чья-нибудь, потому что и во времени я свободно путешествую, да и в речи, в русской речи, в стихии этой, животворной, вселенской, кровной, сорок с лишним уж лет я дома, – и начну я писать о СМОГе.

Вот и стал я работать. Был вечер. Незаметно и ночь пришла. Я трудился. Вначале раскачивался, а потом и втянулся. Встал. Посмотрел за окно, в черноту рыхлой, влажной зимы столичной, с огоньками её, с отраженьем в тёмном, звонком стекле оконном, словно в зеркале, нет, в Зазеркалье, там, за гранью, лампы настольной и лица моего. И вдруг...

Вдруг я понял, что всё – не случайно. Так всегда у меня бывает. Я услышал негромкий оклик издалёка. И вслед за ним – зов. И – звук. А за ним – и свет различил во тьме заоконной.

Кто там? Что там? Зачем? Время СМОГа?

Ну конечно же. Это оно.

Потом, словно щёлкнуло что-то, само по себе включилось, в небесах ли зимних суровых или где-нибудь здесь, на земле, да не всё ли равно, где именно, важно то, что совпало, сомкнулось нечто нужное, пусть и незримое, как дыхание, необходимое, звук дающее изначальный, находящее верный тон, приводящее речь в движение, строй дарующее и смысл всем словам, и мыслям, и краскам, проясняющее, как молния, память, книгой раскрытую вдруг, чтобы снова магический круг разомкнулся, чтоб вышли ко мне все, кто ждали вон там, в стороне, и молчали, чтоб вновь ожило всё, что в сердце когда-то цвело, всё, что может звучать и расти, чтобы радость в пути обрести, ну а с нею и счастье труда, чтоб вела и хранила звезда, я сразу же, как-то мгновенно, не умом, а хребтом, осознал: работать я стал поздно вечером, в четверг, да, конечно, двадцать четвёртого января, в нынешнем, то есть две тысячи втором, ни больше ни меньше, начинающемся году, в двадцать первом веке, представьте, до которого дожили мы и в

котором живём, кто с чем, а теперь уже ночь – и, значит, двадцать пятое ныне число, – и следующей, неведомой, пока что, бессонной ночью будет двадцать шестое, да, так, января, столь грустная, светлая, мучительная, рачительная и памятная для меня дата создания СМОГа.

И тут же, словно прозрев, ощутил я всю необычность этой грядущей, зовущей к себе, знаменательной даты.

Боже мой! Да ведь тридцать семь лет прошло с той поры, когда появился в Москве наш СМОГ!

Тридцать семь! Роковое число – для поэтов? Нет, вековое. Потому что жива душа.

Потому что жива поэзия.

Потому что и СМОГ наш – жив.

Несмотря ни на что. Вопреки всем несчастьям и бедам. Он выжил.

Потому что он – смог. Сумел.

Вот чей оклик – и зов – и свет – этой ночью ко мне пришли.

Возвратились – и встали рядом.

Не случайно всё это, знаю.

В который уж раз убеждаюсь: то, что найти должно своё выражение в слове, приходит ко мне само.

Вовремя. Именно так.

Лишь тогда, в день такой, в час такой, в такую минуту волшебную, когда не записывать это ну просто никак нельзя.

СМОГ пришёл – в аккурат накануне своего, незаёмного, личного, тридцатисемилетия славного.

Надо работать. Пора.

Может быть, поскольку, друзья мои, уцелевшие и ушедшие навсегда, господа и дамы, звёзды всех промелькнувших лет, совершенно всё в этой книге само по себе и вовремя приходит ко мне, то и книга – непременно вовремя выйдет?

В свой, намеченный свыше, час.

Оклик, зов и свет! Жду я вас.

Выйдет всё-таки? Вы уверены?

Что же, вместе будем надеяться.

Это кто мне теперь говорит?

Ах, это вы, современники. Вы, мои редкие гости. И особенно – молодые.

Сколько уж лет вы меня донимаете, беспокоите, озадачиваете своими нескончаемыми вопросами!

Вот и сейчас, без всяких предупреждений, запросто, повинуюсь вовсе не прихоти, но желанию разобраться в чём-то, важном и нужном для вас, в том, что сами поймёте, надеюсь, и осмыслите обязательно, чтобы знать об этом потом, умудрились вы появиться, пусть и в мыслях моих теперешних, всё равно ведь и это – реальность, и напомнили о себе.

Вижу я, на сей раз от вас так просто уже не отвяжешься. Упрямые вы, однако, если что-нибудь надо вам, люди.

Больше не от кого сегодня об этом услышать, особенно с подробностями и деталями характерными? Тоже верно.

Знаете что, любезные, умные, интересные, пытливые, прозорливые, вполне вероятно – счастливые?

Так и быть, кое-что, немного из того, что сказать в состоянии, что клубится на расстоянии то ли вытянутой руки, то ли прошлой эпохи, сложной, беспощадной и невозможной, отшумевшей вдали, непреложной, как и встарь, доселе тревожной, навсегда, расскажу я вам.

Вы меня уговорили.

Если хотите, можете, в духе постмодернизма, которым заражены вы поголовно, толком не ведая, что за штука такая этот разгулявшийся нынешний «изм», уж ясно, что не смогизм, не изумизм губановский, не моя, тем более, проза, которая, как полагают некоторые критики, серьёзные, даже солидные, уникальна и неповторима, поскольку, так получилось, это ещё и поэзия, считать это импровизацией, в какой-то мере, – для вас. Хотя, скорее всего, будут это лишь некие связные, меж собою таинственно связанные ритмом, строем, пластикой, музыкой, мыслью, памятью, светом давнишним и теперешним, звуком, ведущим за собою, всей речью родною, наброски, записи, образы, отрывки, фрагменты, куски, – так, что в голову мне придёт, причём, совершенно свободно, как говорится – по ходу.

Может, в такой вот, раскованной, но и собранной, тем не менее, сбитой в сгусток, в магический шар, ощущаемой мной как дар, потому и вполне оправданной всем роением её, фрагментарности – лучше всего высветляется и само желанное целое.

Одно, как известно, дело – ровная, непрерывная, вроде шнура, натянутого между двумя обструганными, забитыми в землю колышками, линия повествования.

И другое дело совсем – прерывистая, пульсирующая, джазовая – позволю определение это себе – с упоительно звонкими, вдохновенными, дерзновенными, разнообразными ритмами, с приоритетом светящегося в полёте над миром звука над скучным звукоподобием, размеренным и занудным, с акцентами закономерными, синкопами небывалыми, паузами, за которыми грядёт нарастание мощное музыки жизни бескрайней, музыки речи родной, и всего, что встаёт за этим изумленьем и постиженьем драгоценным празднеством, – линия.

Мне думается, что в такой вот прерывистости органичной, пусть для некоторых непривычной, очень личной, отнюдь не тепличной, драматичной, лиричной, эпичной, безусловно, трагичной, этичной, с тою мерой, что впрямь поэтичной, эталонной слывёт, гармоничной, вот и всё, никакой не практичной, изначально самокритичной, потому-то всегда и тактичной, только подлинной, щедрой, первичной, по наитию, по чутью, чтобы песню создать свою, чтоб мелодии новизна пробуждалась, точно весна, после зимних снегов и выюг, чтобы солнце вставало вдруг над строкою любой и словом, над забытым в пространстве кровом, в измерениях любых, сквозь время, сквозь любое, в бесчасье, бремя, есть много своих достоинств и преимуществ даже.

Так говорить и писать – значит, прошу запомнить, говорить и писать динамичнее, в таком свободном движении, как-то сам по себе, возникает своеобразный монтаж кадров, или же образов, зримых, но всё же читаемых глазами с листа, нахлынувших разом воспоминаний, размышлений, историй, сцен, отступлений и возвращений к нужной сцене, связей, сцеплений, звеньев, нитью скреплённых сквозной, – не знаю уж, как поточнее назвать их, эти кусочки.

Вообще, скажите-ка мне, что за диво такое – форма?

Форма – это дыхание автора.

В ней – и стиль, и пластика, вся, как светящаяся привада.

Что такое тогда содержание?

То, что в данном, конкретном случае говорит находящийся в трансе, несомненном, творческом, автор.

А мало ли что и мало ли о чём он может, настроившись на волны свои запредельные, на частоты свои нездешние, выходя на связь безграничную с кем-то в космосе, говорить?

Каждому ведь своё.
Наитье. И с ним – чутьё.
Прозреньё. И с ним – пробел.
Был – смел. И остался цел.
Сумел разобраться. Смог.
(Других-то – в бараний рог!...)
Выжил. Явь или сон?
Круженье времён, имён.
Созвездия. Гроздь слов.
И вновь ты к рывку готов.
И вот побеждаешь вдруг.
СМОГ. Магический круг.

Однако, гости мои, слушатели, читатели, раз уж вы так возжелали услышать, а может, и в книге изданной прочитать что-нибудь, хоть небольшое, пусть, для начала, знакомства, о СМОГе, да ещё, к тому же, и с некоторыми, для вас интересными, ясно, для меня же – и сам я не знаю, каковы они будут, но жгучими, как огонь полыхнувший, острыми, словно иглы в шитье, подробностями, с именами, с конкретными фактами и всем прочим, чего не счесть, что погоду обычно делает в тексте, ауру создаёт, атмосферу необходимую, звук находит, единственно верный, по традиции устоявшейся незаметно тон задаёт, словом, утренней птицей поёт за окошком, свободно и смело, – то приступим, пожалуй, к делу.

Смотрите-ка, вы обратили внимание нынче на то, что сам процесс постижения вашего, современного, нашего, чудом выжившего, доселе для всех интересного, с некоей тайной, видимо, не иначе, легендой ставшего и позиций не сдавшего СМОГа – есть, прежде всего, процесс движения неудержимого, пружинистого развития?

Может, беседуя с вами, в чём-то я и повторюсь ненароком, а кое-что и сознательно повторю, ибо помню завет Чингиз-хана: если хочешь, чтоб мысль твоя запомнилась, не ленись её повторять, – а то и принципиально, упрямо подчеркну что-нибудь существенное, но, друзья мои, всё равно ведь в этом властном движении вдруг да возникнет, само по себе, вот, мол я, принимайте меня таким, каково я, сограждане или всякие там иностранцы, слависты, допустим, какие-то любопытные, нечто новое, для вас, для кого-нибудь, кто услышит, кто прочитает, кто попробует разобраться, постарается что-то понять, и принять, вполне вероятно, коли по сердцу будет ему то, что я говорю, и запомнить, хоть рассказ мой, – вот вам, пожалуйста, я уже кое-что подчёркиваю, – чистая импровизация.

Очень возможно, что так вот и надо: идти вперёд, нащупывать, находить в самом движении – главное, и пусть швы наружу порой, и наскоро что-то смётано, и пусть монолог невольный переходит вдруг в диалог, а потом я уйти могу незаметно куда-то в сторону, а потом и вернуться к теме, – всё это, впрочем, неважно, а важно то, что из разных, пёстрых с виду кусочков, из этой вот любопытной, радужной, дробной мозаики – между делом, исподволь как-то, удивительным образом, право, складывается желаемое целое, и причём такое, какое иными средствами, как ни старайся, как ни пытайся достичь гармонии, полифонии, нужного равновесия, соразмерности всех частей, зрительного эффекта, звучания и всего, что делает прозу не только прозой, но и поэзией настоящей, весьма вероятно, ни за что никогда и не выразишь.

Вспомните, к примеру, «8 1/2»
мага и волшебника, чудесного Феллини.

Славный Федерико – словно свет весной,
с Джульеттою Мазиною, Музой и женой.
Вот они. Возникли – сами по себе.
Играет на волшебной серебряной трубе
великая актриса. Великий режиссёр,
молча постигая сказочный простор
измерений новых, смотрит на меня
пристально, сквозь время, полное огня.
Память, оживая, свечи мне зажгла.
Вдосталь этой ночью света и тепла,
чтобы не замёрзнуть зимнею порой
речи, находящей ритмику и строй,
музыку хранящей в слове золотом,
певчей, настоящей, днесь – и на потом.

Шествием барочным движутся ко мне
все, кто задержались где-то в стороне,
все, кто повстречались в давние года,
чтобы возвратиться нынче навсегда
в книгу, на страницы грусти и любви.
Что за небылицы? С пламенем в крови,
с именем в забвенье, временем во мгле.
Что за откровенья? Здесь ли, на земле,
с мукою вчерашней, там ли, в небесах,
с музыкой всегдашней, с вестью в голосах,
с ясностью во взглядах, с явью или сном,
все, в своих нарядах броских, – об одном:
в гуле карнавального – сказка и судьба,
в грохоте повального – звонкая труба,
горлом серебристым певшая о том,
каково артистам в мире непростом,
каково поэтам выживать в ночи.
Потому-то в этом – тайные ключи
от миров, которым по сердцу, пойми,
путь к иным просторам с песней меж людьми.

Уловили, теперь-то, мысль мою?
Там подобный подход к делу.

А, мол, что здесь мудрить? Будем двигаться, как придётся, куда-то вперёд, ну а всё остальное, конечно же, само собою приложится.

И приложилось ведь, надо же, да ещё как приложилось! Сложилось в единое целое. По-своему выжило. Выразилось.

Вот вам и метод. Вернее, сразу целый волшебный веер по наитию, по чутью, лишь в движение пришедших методов.

Нет и не было ни учебников, ни канонов жёстких для речи.

Она сама, без подсказок, верный находит путь.

...Ночь со снегом.

И – век со СМОГом.

Неужели – судьба?
Ну, с Богом!

Со времени возникновения СМОГа прошло тридцать семь лет – и это сейчас, только сейчас, в январе снежном, в конце января, так вернее, друзья, две тысячи второго года, когда я, выживший, с вами беседую.

Что будет потом – и сколько лет в грядущем пройдёт со времени возникновения СМОГа – не знает никто из нас. Поживём – увидим.

Годы идут, и СМОГ существует. Вполне вероятно, что жить он будет – всегда.

Порукой этому – речь.

Огонь, что смогли уберечь.

Судьбы наши. Дороги.

Легенды и мифы – о СМОГе.

Враньё. Нелепые слухи.

Брюзжанье тех, кто не в духе.

Восторги всех остальных.

Во пределах разумных: земных.

А может быть – и небесных.

Мгновений тени чудесных.

Видений рой давнишних.

Сомнений клочья излишних.

Радений следы нездешних.

Отзвуки празднеств прежних.

Всё в былом, что дорого мне.

Слово. Дело. Свеча в окне.

Давно уже снят запрет и с самого названия, одних когда-то пугавшего, других же – наоборот, притягивавшего к себе, властно, неудержимо, и со ставшей и впрямь легендарной, через несколько десятилетий, (слишком яркой и слишком стремительной, слишком бурной, пожалуй, особенно для властей всемогущих советских, для начальства разнообразного, для писателей официальных, и для прочей нечисти), праздничной и трагической, вместе с тем, фантастической, как мне кажется иногда, в моих зрелых годах, деятельности, странной всё-таки, удивительной, не имевшей равной себе, или даже слегка похожей, ни в отечестве горемычном, ни, тем более, за рубежом, знаменитого в прошлом нашего содружества молодых, творческих, смелых, сумевших сказать своё слово в поэзии, в прозе, в музыке, в живописи, искавших и находивших самую суть всего, что мир составляло, прекрасный и действительно сложный, людей.

Больше нет никакого смысла кому-то и дальше замалчивать тот непреложный факт, что и лидеры СМОГа, и некоторые другие участники этого замечательного движения давным-давно состоялись как творческие, подчеркну сознательно, именно так, прежде всего, творческие, то есть творящие, что-то серьёзное создающие, трудящиеся, находящиеся, годами, десятилетиями, в своих непрерывных трудах, работающие, порою на износ, вопреки всему, что мешает этой работе, упрямо, целенаправленно, и прежде, и ныне, всегда.

Не наша вовсе вина в том, что почти на всей поэзии, прозе и прочем, поверьте, внимания стоящем, в жанрах различных, с широким спектром, созданном СМОГом, до сих пор имеется горький, нелепый, ненужный, досадный, изначально коварный, что ли, ощутимый мною до боли, ещё не сброшенный временем, ржавый какой-то налёт мнимой, обманной, подлой, поощ-

ряемой кем-то непризнанности, абсурдной, неведомо кем управляемой, неутверждённости, не знаю, как и сказать подходчивее об этом, отсюда и все эмоции, неразрешённости, видимо, долгой незаконности, в пресловутом литературном процессе, прежде всего, и в сознании тех, кто в этом процессе, вроде, участвуют, хотя, скорее всего, им это просто кажется, потому что всё наилучшее, в литературе, в искусстве, создают искони одиночки, и даже в СМОГе мы были, несмотря на содружество прочное и на общность каких-то взглядов, интересов, ну и так далее, всего ведь не перечислишь, слишком разными, то есть были и тогда самими собой, но, впрочем, зачем пытаться разъяснять, если в этом когда-нибудь разберутся ещё, без меня, те, кому, по роду занятий, положено, я надеюсь, хоть в чём-нибудь разобраться, хоть что-нибудь, наконец, в минувшей эпохе понять, – нас всеми возможными средствами старались тогда уничтожить, а позже, когда это всё-таки полностью не удалось, всячески ущемлять, представлять в искажающем истинный облик явления свете, закрывать дорогу к изданиям, и по привычной, удобной для многих функционеров, закосневшей в своих проявлениях и всяческих модификациях, инерции, сообщая, делать вид, умело и ловко, что нас как будто и нет, ну кто мы для них такие, ведь у них есть свои кумиры, не стоящие обычно и ломаного гроша, и свои, заметьте, законные, уж не то, что мы, незаконные кометы, в кругу расчисленных, по разнарядке, светил, фигуры, которые, вроде бы, по их, псевдоумников, мнению, погоду какую-то делают в таинственной области творчества, подумать ведь только, погоду, в творчестве, но не мы, да и мало ли что когда-то, в незапамятные времена, горючила или творила неуёмная молодёжь.

Так, должен я вам, друзья мои, прежние, и теперешние, и, вполне вероятно, грядущие, открыто и прямо сказать, не считают наши читатели и сторонники, ни в родном отечестве, ни в зарубежье, многочисленные, замечу, те современники наши, с независимостью закалённой суждений, мнений и выводов, с собственным взглядом на мир, кому дорога настоящая творческая свобода, живое дорогое слово – эти вечные и всегда озарённые новизной понятия, сопряжённые с человеческим поведением, с деяниями серьёзными.

Сейчас, в наше время, судя по всему, настала пора оглянуться назад, в былое, поневоле взгрустнуть и вспомнить дорогие сердцу, встающие в отдалении, светлые образы и чередой непрерывною шедшие, поражавшие воображение жителей столицы, слишком уж бурные для них, ко всему привычных, вроде бы, небывалые, удивительные события, пристальнее вглядеться в навсегда, полагаю, близкую, для всех нас, без исключения, хорошо различимую даль крылатых шестидесятых и с неминуемым вздохом вовсе не облегчения, но неубитой, по-рыцарски оберегаемой нами надежды на справедливость и пускай запоздалое даже, но всё-таки понимание тех, кто знают о нас, по-разному, большей частью так, понаслышке, и, намного реже, побольше, и на том спасибо, поскольку это лучше, чем просто забвение, но забвения быть не может никогда, потому что смогли мы когда-то прорваться в грядущее, каждый, впрочем, по-своему, то-то каждый ждёт понимания, то-то же вместе мы понимания ждём, не напрасно пора пришла подвести большей частью печальные и трагические итоги, объяснить, что же это такое – подвергшийся в годы бесчastia, в эпоху тупую брежневскую застоя так называемого беспощадному, в пух и прах, чтоб следа не осталось, разгрому, изошрённой, жестокой травле, гонениям продолжительным, но, тем не менее, чудом, отчасти, а больше, как я понимаю, из упрямства, тогда молодого, из гордости не стареющей, из веры в призвание каждого, в светлое предназначение общего нашего дела, выживший, утвердившийся, что важно весьма, в сознании нескольких поколений, ставшей неоспоримой давно, неотъемлемой частью русского авангарда, героический, дерзкий, неистовый, вдохновенный, таинственный СМОГ.

Все вы помните, что расшифровка названия очень проста: Смелость, Мысль, Образ, Глубина.

Все вы знаете, что, вместе с этим, прижилось ещё и другое толкование непривычной, броской, краткой аббревиатуры: Самое Молодое Общество Гениев, предложенное Губановым наобум, на предмет эпатажа, и сразу же почему-то пришедшееся по душе передовой молодёжи середины шестидесятых – неугомонным российским слушателям и читателям всюду звучащих стихов, завсегдатаям поэтических многочисленных вечеров, запоминавшим тексты с голоса и переписывавшим затем их в свои тетрадки (что, если припомнить суждение Максимилиана Волошина, само по себе у нас почётно уже для поэта), привыкшим читать внимательно и сознательно распространять и новинки, журнальные, книжные, и всё, что не издавалось, но было для всех в стране как воздух необходимо, в машинописях самиздатовских, – филологам, искусствоведам, историкам, журналистам, актёрам, физикам, химикам, биологам, математикам и так далее, список велик, – всему пытливому, пылкому, ищущему, серьёзному, с требованиями строгими, всегда, к себе и другим, отстаивавшему свои взгляды и убеждения решительно и отважно, московскому, с вольнолюбивыми традициями, студенчеству, художественной богеме, жителям самых разных городов бывшего Союза, говоря значительно проще – тем, чьи души искренне жаждали подлинной новизны в современной литературе и в современном искусстве, тем, кто в эпоху былую уповали ещё на обещанные нам, уже не единожды, изменения коренные в жизни общества, тем, кто старались, и пристрастно, и объективно, осмыслить весь ужас минувших, столь тяжких, сталинских лет, и не ведали, что предстоит всем нам вскорости пережить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.